

Рудольф Бультман

История и эсхатология. Присутствие вечности*

VIII. Природа истории (А)

Проблема герменевтики (истолкования истории). Вопрос об объективности исторического знания

Пока что мы не ставили вопроса об истолкованиях той истории, которую мы обозрели, хотя этот вопрос относится к первостепенным. Это так называемый *герменевтический вопрос*, вопрос о понимании тех документов, которые были доставлены нам традицией. Чтобы использовать их, нам нужно их понять, реконструировать картину исторического прошлого. Документы должны говорить нам нечто. В действительности, любая интерпретация истории предполагает герменевтический метод. Это верно и по отношению к толкованиям истории Просвещением, Гегелем, Марксом или Тойнби. Но чаще всего историки не задумываются об этой предпосылке. В наше время герменевтический вопрос вышел на первый план. В спорах о сущности и смысле истории неизбежно высветилась и проблема возможности познания истории, даже возможности достижения объективного знания об истории вообще. На этот второй вопрос мы способны ответить, только ответив на герменевтический вопрос: каков характер исторического познания?¹

Вопрос о понимании истории можно точнее сформулировать как вопрос об истолковании письменных документов прошлого. В таком виде он представляет собой давний вопрос, иг

* Перевод выполнен по изданию: *Bultmann R. History and Eschatology. The presence of Eternity.* N.Y., 1957.

равший видную роль в филологии со времен Аристотеля (а также и в юриспруденции). Филология выработала правила герменевтики. Уже Аристотель сознавал, что интерпретатор должен провести анализ письменного документа; он должен понимать части из целого, а целое — через части. Это — так называемый герменевтический круг. Когда предметом рассмотрения является текст на иностранном языке, то истолкование должно идти по правилам этого языка. Необходимо изучать особенности индивидуального использования языка, стиль автора, особенности применения языка в его время. Последнее зависит от исторической ситуации, а потому знание места и времени, культуры также является предпосылкой истолкования.

Уже Шлейермахер (1768–1834) осознал, что подобные герменевтические правила недостаточны для действительного понимания текста. Он настаивает на дополнении филологического истолкования психологическим, которое он называет интерпретацией посредством дивинации. Произведение литературы должно быть понято как момент жизни его автора. Историк должен воспроизвести в себе самом повод, из которого выросло интерпретируемое им произведение. Так сказать, он должен создать его заново. Шлейермахер считал это возможным, поскольку автор и интерпретатор обладают одной и той же человеческой природой. Каждый располагает «восприимчивостью» (*Empfänglichkeit*), присущей и всем прочим, а потому способен понять сказанное другими.

Подход Шлейермахера был воспринят и развит далее В. Дильтейем (1833–1911). Искусство истолкования было распространено им на отличные от произведений литературы документы — например, на памятники искусства и музыки. Такие документы он называет «четко установленными проявлениями жизни». Интерпретатор должен добраться до душевной жизни, выражающей себя в документах, которые даны нам посредством чувственного восприятия. Это возможно, поскольку «в индивидуальном проявлении некой другой личности нет ничего, что не содержалось бы в воспринимающей жизненности». Ведь «все индивидуальные различия, в конечном счете, выступают не как результат качественных различий между личностями, но лишь различиями степени развития их психологических акциденций».

Является ли такое определение герменевтики достаточным? Оно кажется таковым, пока речь идет об истолковании произведений искусства, религиозных или философских текстов. Но если мне требуется понять математический, астрономический или медицинский текст, то разве мне есть нужда перемещать свое Я и соотносить его с особым складом ума автора текста? Разве моя задача не заключается в том, чтобы повторить или помыслить заново математические, астрономические или медицинские идеи текста? Когда мне нужно понять историко-хронологические документы, например египетские или вавилонские записи о военных деяниях правителей или знаменитые *Res Gestae Divi Augusti*, то должен ли я воспроизводить психические события, происходившие в душе их авторов? Очевидно лишь то, что для понимания таких текстов мне следует обладать неким знанием военных и политических дел. Разумеется, их можно читать иначе, на что обратил внимание Г.Миш в своей *Истории автобиографии*² — в подобных документах можно видеть ненамеренное выражение чувства жизни, понимания мира в определенное время и в рамках той или иной культуры.

Тем самым выясняется, что любая интерпретация направляется неким интересом, неким *вопрошанием*: каков мой интерес при истолковании документов? Очевидно, что такое вопрошание рождается из специфического интереса к предмету, а это предполагает уже некое понимание данного предмета. Я называю его *предпониманием*.

Дильтей прав в том, что должна быть связь между автором и интерпретатором — он находит эту связь в душевной жизни. Но если интерпретация всегда направляется предшествующим пониманием предмета, то мы можем, скорее, сказать, что возможность понимания базируется на актуальном отношении (*Lebensverhältnis*) интерпретатора к предмету, нашедшему свое прямое или косвенное выражение в документах. Можно пояснить это тем, как мы приходим к знанию иностранного языка. Оно осуществляется, когда предметы, вещи, действия, обозначаемые иностранными словами, известны по их использованию в обстоятельствах нашей жизни. Иностранное слово, обозначающее вещь или действие, абсолютно неведомое в моей собственной жизни, не может быть переведено, оно просто перенимается как иноземное. Например,

немецкое слово для «окна», Fenster, есть не что иное, как латинское fenestra — древние германцы не использовали окон и ничего о них не знали. Подобным же образом ребенок учится понимать слова и их говорить, одновременно осваивая окружающий мир с его предметами, способами их использования. Условием всякой интерпретации, таким образом, является тот простой факт, что автор и интерпретатор живут в одном и том же историческом мире, в который вовлечена человеческая жизнь — как жизнь в обстоятельствах, как взаимодействие с предметами и с другими людьми. Естественно, к ней относится также общность интересов, проблем, борьбы, страстей, игры и т.п.

Я уже говорил, что интерес к какому-то предмету задает основания для интерпретации, поскольку от него зависит, какие вопросы будут заданы. Теперь я приведу несколько примеров того, как задаются различные вопросы. Ученый-историк реконструирует последовательность событий в прошедшей истории, руководствуясь специфическим интересом: таковым может быть политическая история, история социальных проблем или форм, история духа, история культуры. Во всех этих случаях истолкование всегда определяется его общей концепцией истории и относимых к ней предметных областей (либо находится под влиянием такой концепции). Свой интерес может быть у психолога, который задает текстам вопросы, относящиеся к индивидуальной или массовой психологии. Его может интересовать также психология религии, поэзии, техники и т.д. При этом его всегда направляет некое предпонимание души и психических феноменов вообще. Интерес может быть эстетическим: тексты или произведения искусства рассматриваются с точки зрения их формы, вопрос ставится по поводу их структуры. Интерпретатора тогда направляет его предпонимание прекрасного, даже сущности искусства. Иногда он довольствуется анализом стиля, иной раз задает вопросы о психологических мотивах, нашедших выражение в произведении искусства. Во всяком случае, он также отталкивается от уже имеющегося предпонимания и связанных с ним концепций.

Наконец, интерес может затрагивать не эмпирическую историю, но историю вообще, как сферу жизни, в которой живут и движутся человеческие существа, реализуя свои возможнос-

ти. Интересом здесь может быть постижение человека каким он был, есть и всегда будет. В таком случае истолкователь размышляет об истории, думая в то же самое время о собственных возможностях и стремясь к самопознанию. Он задает вопрос о человеческой жизни вообще, имея в виду свою собственную жизнь, которую он пытается понять одновременно с жизнями других людей. Такое вопрошание возможно лишь в том случае, если сам интерпретатор задается вопросом по поводу собственного существования. В таком случае предполагается некое знание о человеческом существовании; будь это предпонимание даже весьма нечетким и неопределенным, оно направляет вопросы, на которые мы хотим получить ответы.

Если верно, что любое истолкование, даже любое вопрошание и понимание, направляется предпониманием, то возникает вопрос: возможно ли тогда вообще какое бы то ни было объективное историческое знание? К этому вопросу нам теперь и следует обратиться.

Безусловно, субъективность историка, как правило, окрашивает его картину истории. Например, от идеального образа собственной страны, от представлений о ее будущем зависит то, как историк описывает ее прошлое, как он судит о значимости событий, оценивает величие исторических личностей и просто различает важное и неважное. В соответствии с различными ценностями, разные картины прошлого рисуют националист и социалист, идеалист и материалист, либерал и консерватор. Поэтому столь различны в истории портреты Лютера и Гюте, Наполеона и Бисмарка. Можно вспомнить о той совершенно субъективной картине упадка античной культуры, которую нарисовал Гиббон.

Когда такие картины являются результатом неприкрытой предвзятости и партийности, то с ними нам вообще нет нужды считаться (скажем, с воззрениями на историю нацистов или русских коммунистов). Вопрос, однако, заключается в том, может ли настоящая историческая наука достичь объективности. На первый взгляд, это кажется возможным, поскольку события и действия прошлого зафиксированы в исторических документах. Разумеется, методично проведенное исследование достигает объективности при рассмотрении некоторых состав-

ных частей исторического процесса, а именно, событий, понятых просто как происшествия во времени и в пространстве. Например, мы можем зафиксировать факт и время, в которое Сократ выпил чашу с ядом, когда и где Цезарь перешел Рубикон, а Лютер прибил к дверям собора в Виттенберге свои 95 тезисов. Как объективный факт мы знаем время, в которое происходила та или иная битва, когда была основана та или иная империя, когда произошла какая-то катастрофа. С учетом этого можно не прислушиваться к утверждениям о том, что достоверность исторических суждений всегда только относительна. Конечно, есть множество событий, которые невозможно зафиксировать, поскольку свидетельства недостаточны или туманны; проницательность и способности любого историка также имеют свои границы. Но это не имеет систематического значения: в принципе, методичное историческое исследование способно достигать в этой сфере объективного знания.

Но достаточен ли взгляд на историю, представляющий ее как поле таких событий и действий, которые мы можем зафиксировать в пространстве и во времени? Я так не думаю. Хотя бы потому, что история есть движение, процесс, в котором отдельные события связаны друг с другом цепью причин и следствий. Такая связь предполагает наличие задействованных историческим процессом сил. Их не так уж сложно различить. Уже Фукидид признавал такими движущими причинами человеческие влечения и страсти, в особенности стремление к власти, притязания индивидов и групп. Всем нам известно, что экономические и социальные нужды выступают как такого рода факторы исторического процесса; это верно и применительно к идеям и к идеалам. Несомненно, понимание и оценка таких факторов могут быть различными, но нет и суда, который дал бы окончательное решение.

Наконец, историческое событие или действие подразумевает то, что оно включает в себя смысл и значимость — иначе оно не было бы историческим. Какова значимость того, что Сократ выпил чашу с ядом, для истории Афин, для всей грядущей истории человеческого духа? Какова значимость того, что Цезарь перешел Рубикон, — для истории Рима, для всей истории Запада? Какова значимость прибитых Лютером к церков-

ным дверям тезисов — для политики того времени, для религиозной истории последующих поколений? Разве суждение о значимости не зависит от субъективного взгляда историка?

Следует ли из этого, что достижение объективного исторического знания невозможно? Это было бы так, если бы объективность исторической науки имела тот же смысл, что и объективность естествознания. Для понимания того, что такое объективность в исторической науке, нам нужно различить две возможных точки зрения на историографию. Первая точка зрения или перспектива избирается историком; вторую я назвал бы экзистенциальной встречей с историей.

Для начала я поясню вопрос о *перспективе или точке зрения*. Каждый исторический феномен можно рассматривать с разных точек зрения — человек представляет собой сложное существо. Он состоит из тела и души, или, если угодно, из тела, души и духа. Он имеет желания и страсти, он испытывает физические и духовные потребности, располагает волей и воображением. Он является политическим и общественным существом, но также имеет свои особенности как индивид, а потому человеческое сообщество может быть понято не только как политическое и социальное, но и как личностное взаимоотношение. Вследствие этого историю можно писать как политическую или экономическую, как историю проблем и идей либо историю индивидов или личностей. Историческое суждение может направляться психологическим, этическим или эстетическим интересом. Каждая из этих точек зрения открыта одной из сторон исторического процесса, и каждая точка зрения открывает нечто объективное в истории. Картина делается ложной лишь в том случае, если одна-единственная точка зрения принимается за абсолютную и становится догмой.

Историография начиналась с интереса к политической истории, она пришла на смену хроникам и легендам — осознание хода истории пришло прежде всего в связи с политическими изменениями. В дальнейшем стали преобладать — в виде реакции на господство политической истории — иные воззрения: появляются история идей, история экономики. В последнее время историки нередко пытались сочетать различные точки

зрения, чтобы построить всеобщую историю человеческой культуры или цивилизации. Обычно различные историки направляются специфическими интересами и вопросами, и это никому не мешает, пока одна точка зрения не становится абсолютной, пока историк сознает, что его видение феномена происходит в одной перспективе, что не отрицает возможность других способов видения.

В каждой точке зрения проявляется истина. Субъективность историка не означает того, что он видит ложно, но лишь то, что он избрал особую точку зрения, что его исследование начинается со специфического вопроса. Следует помнить о том, что мы вообще не получим историческую картину, не задавая вопросов, а потому воспринять исторический феномен можно только с особенной точки зрения. В этих пределах субъективность историка является необходимым фактором объективного исторического познания.

Стоит обратить внимание еще на один момент: субъективность историка не сводится к избранию специфической точки зрения в начале исследования. В самом выборе перспективы уже присутствует то, что я называю экзистенциальной встречей с историей³. Как говорит Р.Дж.Коллингвуд: объект исторического познания — это «не просто объект, т.е. просто нечто лежащее вне сознания, его познающего; это деятельность мышления, которая может быть познанной только в той мере, в какой познающий ум воспроизводит ее в себе и осознает себя как поступающий таким образом. Для историка действия, историей которых он занимается, — не зрелища, данные наблюдению, но живой опыт, который он должен пережить в собственном уме; они объективны и могут быть познаны им только потому, что они одновременно и субъективны, т.е. являются действиями его собственного сознания»⁴. Сходным образом говорит и Эрих Франк: «Объект исторического понимания не есть вещь в себе, независимая от наблюдающего ее ума... В поле естественных наук мы имеем дело с объектом, который сущностно от нас отличен: мы мыслим, природа — нет. Объектом исторического познания является сам человек со всей субъективностью его природы. В этой области невозможно провести окончательное разграничение между познающим и его объектом»⁵.

Это не означает того, что историк приписывает смысл историческим феноменам по собственному произволу. Но это значит, что исторические феномены являются самими собой не в чисто индивидуальном изолированном бытии; они значимы лишь в их отношении к будущему. Мы можем сказать, что каждому историческому феномену принадлежит его будущее; только в будущем он показывает то, что он действительно собой представляет. Точнее говоря, он всякий раз являет себя в будущем, и окончательная демонстрация его сущности произойдет лишь вместе с завершением истории.

Поэтому вполне понятно, что вопрос о смысле истории возник и впервые нашел ответ в мирозерцании, которое полагало себя знающим конец истории. Это произошло в иудео-христианском понимании истории, зависевшем от эсхатологии. Греки не ставили вопроса о смысле истории, античные философы не развивали философию истории. Впервые философия истории появляется в христианском мышлении, поскольку христиане верили в то, что знают конец мира и истории. В близкое нам время христианская эсхатология была секуляризована Гегелем и Марксом. Каждый из них на свой манер полагал, что знает цель истории, а потому истолковывал ход истории в свете этой предполагаемой цели.

Сегодня мы не можем притязать на знание конца и цели истории. Поэтому вопрос о смысле истории сделался бессмысленным. Тем не менее, по-прежнему остается вопрос о смысле единичных исторических феноменов и отдельных исторических эпох. Точнее говоря, остается вопрос о значимости отдельных исторических событий и деяний нашего прошлого для нашего настоящего, а настоящее нагружено ответственностью за наше будущее. Например, каковы смысл и значимость упадка единой средневековой культуры для взаимоотношения разных христианских деноминаций применительно к проблеме образования? Каковы смысл и значимость Французской революции в связи с проблемой организации государственной власти? Каковы смысл и значимость возникновения капитализма и социализма перед лицом проблемы экономического порядка? Можно привести еще ряд подобных вопросов. Во всех этих случаях анализ мотивов и

последствий высвечивает запросы нашего будущего. Суждение о прошлом и суждение о настоящем соединяются, одно из них проясняется другим.

Посредством такой исторической рефлексии феномены прошлого становятся действительными историческими феноменами и приоткрывают свой смысл. Начинают открывать — объективность исторического познания недостижима в смысле абсолютного окончательного знания или в том смысле, что феномены могут быть познаны в самом их «бытии в себе», каковое историк мог бы в чистом виде воспринимать. Такое «бытие в себе» есть иллюзия объективирующего мышления, которое присуще естествознанию, но не истории.

Должен повторить: это совсем не означает, что историческое познание субъективно в том смысле, что зависит от индивидуального желания или произвола субъекта. Напротив, подлинно исторические вопросы рождаются из исторических эмоций субъекта, личности, чувствующей свою ответственность. Поэтому историческое исследование предполагает готовность вслушиваться в притязания самого исторического феномена. Именно поэтому требование беспредпосылочности, отсутствия предвзятости, значимо для исторического исследования ничуть не меньше, чем для всех прочих наук. Несомненно, историку не позволено заранее знать результаты своего исследования; он обязан сдерживать себя, умалчивать о собственных пожеланиях относительно этих результатов. Но это никоим образом не означает того, что он должен уничтожать свою индивидуальность. Напротив, подлинное историческое познание требует личностного участия понимающего субъекта, многообразного раскрытия его индивидуальности. Понять историю способен только тот историк, который восхищенно участвует в ней, а потому открыт историческим феноменам своим чувством ответственности за будущее. В этом смысле самая субъективная интерпретация истории является и самой объективной. Только вовлеченный в собственное историческое существование историк способен услышать требования истории.

Именно в этом смысле Р.Дж. Коллингвуд говорит о том, что историческое исследование открывает историку силы его собственного разума. «История, таким образом, — самопознание

